

И.И. Глебова

**РОССИЯ–1917:
ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОГО ВЫБОРА**

Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотреть истоки, предпосылки и динамику Русской революции. Главный вопрос, которым задается автор: действительно ли она может быть вписана в ряд европейских революций конца XIX – начала XX в.?

Ключевые слова: Россия, Февральская революция, Октябрьская революция, Первая мировая война, большевики.

Глебова Ирина Игоревна – доктор политических наук,
руководитель Центра руссиеведения ИНИОН РАН, Москва.
E-mail: glebova.i.i@yandex.ru

I.I. Glebova. Russia–1917: The Problem of Historical Choice

Abstract. The article deals with the origins, background and dynamics of the Russian Revolution. The main question the author is interested in is whether we can fit it in one line with the European revolutions of the late 19th – the early 20th century?

Keywords: Russia, the February revolution, the October revolution, the First World War, the Bolsheviks.

Glebova Irina Igorevna – Doctor of Political Sciences,
Head of the Center of Russian studies of the Institute
of Scientific Information on Social Sciences
of the Russian Academy of Sciences (INION RAN), Moscow.
E-mail: glebova.i.i@yandex.ru

Возвращение Октября

2017-й год в России идет под знаком революции. В России вообще вспоминают юбилеями – это традиция (история революции активнее всего разрабатывалась в 1927, 1957, 1987, 1997 гг.), а тут еще магия даты – 100-летие

требует воспоминаний. И главная юбилейная интонация – именно вспоминая: 1917-й год – наше прошлое. Разговоры о революции – в основном ретроспективные; их ведут историки – о причинах и мотивах, ходе и «выходе», правых, виноватых и ошибавшихся.

Главный итог юбилейного года видится мне в том, что Россия оказалась неспособна вырваться из плена Октября. Наша революция теперь уже навсегда останется Октябрьской; когда говорят о Великой русской революции¹, имеют в виду именно Октябрь. Февраль по-прежнему в тени – малопонятен, малоинтересен; царская Россия – лишь исторический материал для выстраивания логики революции².

«Большой стиль» русской революции

Революционный год (от февраля 1917 – до января 1918 г.)³ оказался для России временем исторического выбора: какой будет страна, кто (какие силы) станут направлять ее в истории. Структура гражданской войны, из которой выйдет совсем *другая* страна (уже не царская и не февральская), определилась тогда.

Страна ответила на Февральскую революцию атмосферой эйфории, явленной большей частью столицей и большими городами, и общенациональной готовности к переменам⁴. Однако с ликвидацией старой власти

1. Это новая официальная формула событий 1917–1921 гг. (дана в Историко-культурном стандарте 2013 г., наделавшем много шума). Юбилей должен был ее закрепить. В ее основе – не просто историографическая отсылка к Великой Французской революции (республиканскому мифу о ней), но попытка подогнать русскую революцию под европейскую «норму». Надо сказать, что у этой формулы есть «предшественники» – вспомним хотя бы волошинский «Мартобрь» (точнее, метафора это гоголевская, но М. Волошин перекинул ее на свое время).

2. 1861-й год породил 1905-й, 5-й год – «генеральная репетиция» 17-го (ленинские трактовки по-прежнему актуальны); 1914–1916 – мировая бойня и романовско-распутинское разложение и т.п.

3. Год был длинным: От «медовой» (по определению З.Н. Гиппиус) февральско-мартовской революции до разгона Учредительного собрания, с которым она связывала все надежды, свое будущее. Именно тогда, как полагает Ю.С. Пивоваров, и победил Октябрь.

4. Многочисленные описания революции (первых «дней свободы»), по существу иллюстрируют короткую формулу современника: «радостное, “весеннее” возбуждение» [15, с. 193]. Емкость (второй план) придают ей такие свидетельства: в провинции известия о событиях в Петрограде, полученные 1–2 марта, особенно впечатления на население не произвели; настроение было безучастным и сдержанно-любопытным. Именно в этом современники видели особенный характер революции: «Все ждали, что будет и не выражали сочувствия ни той, ни другой стороне. Никто не только не пожелал выступить в защиту правительства, но... не выразил даже

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

(«старого режима») революция не остановилась – не закончилась. Напротив, шла эскалация революционного процесса. Страна все больше разворачивалась к гражданской войне, внутренне на нее настраивалась, в нее втягивалась. Август–сентябрь 1917 г. – пик этой эскалации. – Россия забалансировала на грани. Нужен был только толчок, чтобы сорваться.

Тут возникает вопрос: почему? Как мне представляется, одна из причин – в том, что революционный процесс, который нашел разрядку в Феврале 17-го, был не единственным. Это соединение и конфликт принципиально разных движений: февральского демократического, народных (историки говорят об общинной революции 1917–1918 гг., но сюда следует отнести и процессы в городе – в основном в Петрограде) и большевизма (о структуре русской революции см.: [14, с. 27–44]). Каждое из этих движений имело целью перестроить («пересоздать») Россию. То есть революция есть сложное (в социальном и культурном отношениях) явление, сразу вышедшее за рамки политики. Этим обусловлены ее особый облик, стиль, последствия.

Об исторических предпосылках Февральской революции

Февраль был первым из исторических выборов 1917 г. Эта революция имела долгую историю, завершив по крайней мере столетний спор власти и общества о том, какой быть России. То есть при всей необязательности и исторической «ненужности» Февраль 17-го был неслучаен.

Так завершилось историческое противостояние «образованного меньшинства» с породившей его (когда-то) властью (напрашиваются аналогии с конфликтами: отец–сыновья, творец–дети / ученики). Вследствие долгой культурной эволюции («отбора», воспитания, накопления культуры) в России к началу XX в. появилось общество, имевшее многие черты гражданского⁵. Оно не только прошло пору ученичества (прямого следования за европейской

создания о падении его». Не было ничего, что говорило бы «о возможности движения провинции против Петрограда» [15, с. 32–33]. Чем дальше от центра, тем больше были выражены эти настроения.

5. Мы привыкли считать тех, кто его составлял, малоэффективными, неопытными, неврастенными хлюпиками, посредственностями, историческими неудачниками. Это взгляд в перспективе поражения: раз проиграли – значит, «лузеры», не заслуживающие ни понимания, ни снисхождения. Здесь чувствуются ленинское: «интеллигенция – это говно нации», сталинское: «спецы» – «пятая колонна», «пособники внешнего врага». Эти оценки не вытравить ни из простого обывателя, ни из профессионального исследователя. Они, однако, характеризуют нас, нынешних, а не русское общество начала XX в. Ничего лучше (мощнее, разнообразнее, обученнее, опытнее и результативнее) в нашей истории не было. Наше же к ним отношение похоже на то, как они сами воспринимали «николаевское самодержавие».

культурой)⁶, но и преодолело детскую зависимость от власти – выросло из той системы отношений, которые последняя выстроила и где желала быть всем. Русское общество, с которым (и «через» которое) Россия вошла в XX в., было во всех отношениях модёрным. Ему свойственны тоска по обновлению, неутомимые искания «новой правды», новой веры, новых ценностей и ориентиров. В нем жил дух «бунтарства»; поиск, эксперимент и т.п. – естественный способ его существования, самореализации; его время – это современность / будущее, а не настоящее / прошлое. Оно было до крайности самоуверенно, победно, заряжено на социальное творчество; хорошо сознавая свои силы, отказывало в каких-либо перспективах «самодержавию».

Если общество уверовало в собственную сверхполноценность, наращивая тщеславие и готовясь делать карьеру в истории, то власть погрязла в комплексах неполноценности, остро переживала свою «неудачливость». Она «состарилась», истощила запас творческой (как консервативной, охранительной, насильственно-репрессивной, так и модернизационной, преобразовательской) энергии. Ее перспективы были отягощены прошлым; власть перестала побеждать, усваивала роль жертвы, была обречена отступать под общественным натиском со всех сторон (даже «изнутри») – со стороны нового двора, бюрократии, генералитета).

Этим во многом объясняется тот факт, что самодержавие, долго бывшее в России «единственным европейцем», консерватором и реформатором в одном лице, сильно ослабило модернизаторские функции. Оно утратило монополию на революционизм (эпоха перестроек России в формате монархических «революций сверху» закончилась), растеряло этос социального творчества. Пространство, традиционно принадлежавшее власти, неуклонно сокращалось (политические контрреформы конца XIX и начала XX в. были ограниченным административно-репрессивным средством торможения этого процесса). Функции социального переустройства перехватило общество. В стремлении подчеркнуть свою новую – социально-творческую, креативную, развивающую – роль оно и присвоило власти статус реакционера, отжившего (пережитого Россией) явления, олицетворявшего «темное» прошлое и туда тянувшее⁷.

Трансформация элиты должна была получить внешнее, формальное выражение. Борьба общества с властью была борьбой за новые формы, создающие благоприятную рамку для дальнейшего обновления страны. Отчетливее

6. Западные русисты отмечают, что русское общество в начале XX в. чувствовало себя вполне европейским, а Россию полагало частью Европы; что в стране бурно развивалась «буржуазная культура», формировалось «новое гражданское сознание» (см., напр.: [21, p. 222]).

7. Это представление никуда не ушло. См., напр.: [20, p. 9–25].

всего это демонстрирует сфера политики: собственно, ее появление служило показателем перемен, люди политики были авангардом модернизации. Политические элиты располагали силой и решимостью играть самостоятельную роль и определять социальные ориентиры, не просто стремились к расширению пространства своей деятельности, но требовали тотального, принципиального изменения (осовременивания по европейским образцам) оснований элитообразования, воспроизводства власти. Поэтому в России оказались одинаково возможны как масштабные реформы, так и революционная ломка старой системы.

В этом – и только в этом – смысле модернизовавшиеся элиты противостояли самодержавию, отмежевались от него. Только в этом смысле власть и была им чужда. В остальном тогдашняя монархия соразмерна современному ей обществу: она принадлежала верхнему культурному слою (России европеизованных, образованных «верхов»), «генетически» связывая его с «Европой избранных». Более того, по своим внутренним параметрам (соотношению либерального и насильственного эксплуатационного, т.е. собственно «руссковластного»), самодержавие начала XX в. гораздо ближе к европейским «родственникам», чем к собственным «прародителям» (из XVI, XVIII и даже XIX вв.).

К началу XX в. русская власть обрела то качество, которое не позволяло ей сделать систематический террор средством удержания своего господства. Для нее многое (из прежнего) стало невозможно, непозволительно. В России это принято считать слабостью, для власти непозволительной и преступной. Мне представляется, что в этом была ее сила. Гуманизация («очеловечивание», демократизация) – мера исторической эволюции русской власти; благодаря этому она могла бы продолжиться – «вписаться» в новые времена⁸. Самоограничение власти в 1905 г. было естественным следствием длительной эволюции, в ходе которой «взросло» общество и растрачивался сило-

8. Гуманизация – это и есть путь ограничения власти. Известная николаевская самохарактеристика, так раздражавшая общественников: «Хозяин Земли Русской» – вовсе не утверждение идеала самовластия в грозненском («а жаловать своих рабов... и их казнить») или петровском («поднять Россию на дыбы и на дыбу») смыслах. Времена настали другие; изменилось общество – поменялась власть. Именно в этот момент ее и убрали. Собственно, это и есть главный вопрос, заданный русской революцией: почему мы терпим власть насильничающую, а не насильничающую не любим, порочим, презираем, свергаем? Неужели именно первая «социально» близка? – Так что же мы за общество, чего хотим?

вой, полицейский (т.е. собственно кратократический⁹) властный потенциал. У этой эволюции были шансы продолжиться.

Мировая война обострила все старые проблемы страны и породила новые. Она изменила русское общество: чрезвычайно раздражила и ожесточила, сделав в то же время избирательно легковерным и утопическим. Иначе говоря, явилась первым пунктом в повестке русской революции. Именно под влиянием (давлением) войны образованный обыватель к концу 1916 г. свыкся с идеей смены действующей власти. «...Страна полна слухов, которые показывают полное падение доверия к управительным способностям Государя и какое-то прямо *желание* переворота. В перевороте видят единственный способ уничтожить измену... – фиксировал в дневнике Л.А. Тихомиров, тонкий бытописатель и “социолог” того времени. – Пожалуй, и народ, и армия в общем *за него* (за императора. – *И. Г.*), но очень условно, а именно не веря его способности управлять и даже вырваться из сетей “измены”. Ну при таком настроении весьма возможна мысль – вырвать его силой из рук “измены” и дать ему других “помощников”... И это – вовсе не настроение одних “революционеров”, не “интеллигенции” даже, а какой-то огромной массы обывателей... Теперь против Царя – в смысле полного неверия в него – множество самых обычных “обывателей”, даже тех, которые в 1905 г. были монархистами, правыми и... стояли против революции» [9, с. 331].

Через поиск «врагов», критику власти (царя, двора, бюрократии и т.п.) преодолевались ставшие всеобщими трагическое ощущение невозможности больше жить в войне (войной), потребность сбросить ее чудовищное напряжение. Революция должна была встряхнуть, радикально изменить жизнь – конечно, к лучшему. По существу, и общество (гражданское и политическое), и обычный обыватель (а в войну «обыватель» торжествовал над внутренним «гражданином») были и не то чтобы против Николая, властей, но против войны: желали выйти из нее – как угодно. Такой выход и увидели в революции. В то, что войну можно закончить военным путем (сражаясь), зимой 1916–1917 гг. кажется, не верил никто (кроме царя и военного руководства), а вот в революцию – как желанное будущее, альтернативу войне – поверили. При этом переворот представлялся актом против «измены», которая, якобы, мешала России победить¹⁰.

9. Обратим внимание на этимологию греческого слова «*kratos*»: прежде всего оно означало «силу» (не физическую, а способность одолеть в борьбе), а позднее приобрело значение «власти» и «управления» [16, с. 12].

10. Современные исследователи указывают на «всеобщую уверенность в том, что все или почти все отступления и катастрофы России в этой войне могут быть отнесены на счет измены» [19, с. 306]. «Параноидальная атмосфера, в которой политические силы слева, справа и из центра обрушивались на высших представителей государства и друг на друга с обвинениями в измене, не слишком способствовали стабильности режима и военным успехам», – подчеркивает У. Феллер [19, с. 218].

Парадокс: антивоенная, по существу, революция имела имидж (а отчасти и была) военно-патриотической; революция во имя победы – так ее мыслили общественники, так воспринял и обыватель. Но главное: едва ли не всем казалось, что это путь в нормальную жизнь, возвращение к нормальности. А вот народу (рабочему, солдату, крестьянину) революция была «интересна» как возможность «прикончить» войну, переключиться на «внутреннего врага». Об этом настрое, бессмысленном и беспощадном, свидетельствовал осенью 1916 г. тот же Тихомиров: «...в народе назревают самые бесшабашные бунтовские инстинкты, и грозят реками крови» [9, с. 210, 314].

Февраль 1917 г. было бы неверно ограничивать действенной («технической») частью. Ему предшествовала «революция сознания». Февралисты – прежде всего думские, кабинетные, салонные революционеры. По мере «углубления» войны они все больше становились трибунами и глашатаями революции. Через тексты, выступления, беседы, встречи и проч. февралисты готовили страну к Февралю, формировали в умах «установку» на революцию, «лепили» из себя революционеров.

Казалось, и «революция действия» должна была быть во всех отношениях общественной – по целям, движущим силам и методам, по результатам. Но Февраль 1917 г. неожиданно для всех (царя, политиков, бюрократии, полиции) оказался многосоставным событием, где результировались разные социальные темы, требования, переживания, движения. Успех же петроградской революции обеспечило соединение протестного творчества («восстания») масс с политической волей общественных элит, выстроивших новую власть (альтернативу «старой»). Новизна, демонстративные (до нарочитости) демократизм и «народность» были ее преимуществами перед «никаевским самодержавием».

Мировая война началась и закончилась¹¹ вспышками социального единства, для России вообще-то не характерного. В августе 1914-го, как и в феврале 1917-го, на исторической сцене действовал народ. Только войну он встретил патриотическим, милитарным, самодержавным, а в революции был антивоенным и антивластным. На короткий миг Февраль объединил то, что столетиями сцепляла монархия: два враждебных склада русской жизни, две субкультуры – «верхнюю» (интеллигентскую, европеизированную, давшую России тип современного человека) и «низовую» (традиционалистскую, архаичную, взбудораженную и раздраженную модернизационными экспериментами субкультуры «верхов» на рубеже XIX–XX вв. – просто потому, что они означали вторжение в ее жизнь, изменение ее внутреннего строя, ее

11. Я полагаю, что Февраль 1917-го поставил для России точку в той исторической эпохее; усталость от войны, напряженное ожидание ее окончания разрядились в революции (подробнее см.: [7, с. 329–347]).

органики), составлявшую основную массу народонаселения. Потому и стал подлинно народной революцией.

Иначе говоря, революция – как идея и социальная практика – объединила простой народ и интеллигенцию, светско-политическую часть общества и церковь и т.п. Сообща они и скинули с себя историческую скрепу: русская монархия пала. Не ушла, а именно пала – под общим натиском общества и народа. Монарха свергли, династическая линия во власти не продолжилась. Одни считают это главным историческим достижением, другие – грехом (преступлением) Февраля. В любом случае Февраль создал другую страну; она родилась буквально в день отречения Николая II.

Февралисты у власти

Февраль 1917-го – пик эмансипационного процесса, продолжавшегося в России с Великих реформ 1860–1870-х годов (и одна из возможных радикальных на него реакций). Деятели этой революции принадлежали русскому освободительному движению, воплощали в жизнь эти идеалы. Они представляли ту современную (модёрную) Россию, которая появилась, набрала сил и вполне определилась в недрах «старого порядка» (того, что она полагала старым порядком). Казалось, она и поведет страну в XX в. Победив, лидеры Февраля стали строить *новую* Россию: по своему образу и подобию. Но как раз это и не удалось – как творцы нового мира они потерпели поражение.

Февраль подвела тотальность победы. В отличие от революции 1905 г., где возобладали компромисс – власть и общество пошли на взаимное самоограничение, в феврале 1917 г. «организованная общественность» полностью и окончательно уничтожила «самодержавие»¹². Из политики были исключены все политические силы, не связанные происхождением с освободительным движением / традицией (те, что правее кадетов) – как «контрреволюционеры». Лидеры Февраля сделали исключительную ставку на новую,

12. Я беру это слово в кавычки: ибо после Первой революции характеристика русской монархии как «самодержавной» уже не является адекватной. Ошибка всех исследователей революции – в том, что монархия и бюрократия настойчиво и последовательно исключаются из эмансипационного процесса. Притом весь негатив истории русской свободы списывается на них. Основы этой традиции заложили февралисты (так их новая Россия нарицательно субъектировала). Но вот интересный факт. Выбирая для себя прошлое (общенациональные праздники), они остановились на следующих датах: 19 февраля – день освобождения крестьян от крепостной зависимости, 17 октября – «день установления в Российском Государстве первого конституционного строя», 27 февраля – «в память Великой Российской революции, когда сам народ в лице Исполнительного комитета Государственной думы взял власть в свои руки» (см.: [10, с. 326]). Здесь февралисты адекватны истории: монархия – фигурант освободительной традиции.

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

революционную легитимность¹³. Но она не могла гарантировать устойчивость, стабилизировать революцию; апелляция к ней была связана как раз с социальной радикализацией.

Февральская власть сразу пошла на радикальные меры: сделала ставку на всеобщность прав (максимально широкую демократизацию), всеобщее избирательное право, «гражданский строй» (общественную самоорганизацию); отменила всё «старорежимное» – в том числе местную администрацию, полицию, т.е. необходимые управленческие, правозащитные механизмы (возможно, плохие, но традиционные, привычные). Происходила незначительная перестройка (обновление «здания» – своего рода евроремонт), но полная перемена – настоящая агрессия политической современности¹⁴. Россия, в значительной степени истощенная, разложенная и ожесточенная мировой войной, была плохим испытательным полигоном для такого рода экспериментов.

Именно в попытке реализовать свою утопию, а не в неспособности справиться с упавшей в руки властью, – главная проблема Февраля. Конечно, февральские политики вовсе не желали обрушить страну – только улучшить, осовременить (кстати, таковы же были намерения М.С. Горбачёва, Б.Н. Ельцина – всех реформаторов от власти, народных освободителей). Однако ускорили процесс не эмансипации, а энтропии, хаоса, распада. З.Н. Гиппиус в августе 1917 г. задавалась вопросом: «Отчего свобода, такая сама по себе прекрасная, так безобразит людей? И неужели это уродство обязательно?» [6, с. 545]. Русская революция впервые в XX в. так отчетливо продемонстрировала: эмансипационные процессы несут в себе огромные риски, и в отсутствии ограничительных рамок негативные тенденции побеждают. Причем происходит это как-то незаметно, исподволь. Вот что вспоминал о влиянии Февраля современник, тогда подросток: «...школьная жизнь пошла вкривь и вкось. Не знаю, что было тому причиной: в укладе... дорогого частного учебного заведения ничего не изменилось, кормить продолжали нас прекрасно, прислуга продолжала называть нас, при случае, “барчуками”, никаких митингов... Учителя наши..., как и раньше, никак не влияли на нас политически, но... учение и дисциплина разваливались сами собой» [15, с. 184].

13. Сообщая на митинге в Таврическом дворце 2 марта 1917 г. об образовании Временного правительства, П.Н. Милоков в ответ на вопрос: «Кто вас выбрал?» воскликнул: «Нас выбрала русская революция» [18, с. 155–156].

14. Февралисты казались политиками-реалистами, пытавшимися чуть «подтянуть» Россию к европейской норме («уравнять» с Европой). Но как практики власти они были совершенными революционерами: пытались рвануть страну из «проклятого» прошлого в «счастливое» будущее; в реализации демократического идеала далеко опередили тогдашнюю Европу.

Великая Освободительная революция совершенно неожиданно для ее лидеров пробудила не созидательный энтузиазм, а социальные болезни. А.Ф. Керенский указывал на «своеобразнейшее явление революционной эпохи – массовую, болезненную лень»: «Солдаты переставали рыть окопы, нести службу, сражаться. Рабочие переставали работать. Чиновники забывали о своих канцеляриях. Вся деловая, трудовая жизнь огромной страны замирала. Всюду раздавались только бесконечные речи, прения, рассуждения» [5, с. 342]. О том же писал И.А. Бунин: «На всем... пространстве России... вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество» [3, с. 155]. Февральская революция намеревалась освободить труд¹⁵, но привела к освобождению от труда.

Граждане новой России превращались из служащих (и служивых) – в освобожденных от службы, из работающих – в безработных (в смысле нежелания тяжело и эффективно работать, утраты этого навыка). В стране распались любые трудовые «ассоциации», производственно-технологические и информационно-управленческие структуры, нарушались связи (социальные коммуникации). Создалась невиданная ранее ситуация: большинство населения вдруг стало балластом – асоциальными элементами, не работавшими на ниве создания общественного продукта. Единственная партия, которая могла победить в таком «обществе», – партия освобождения от труда.

Это происходило и в непосредственной близости от власти. Февраль привел не к «пересозданию» государства¹⁶, а к разложению государственного механизма. Он попросту разладился: там едва ли не раньше всего воцарились расхлябанность, рассредоточенность, безработность. Служащие «большую часть своего времени заняты словоизвержением в советах или манифеста-

15. Символично название первой организации русских марксистов: «Освобождение Труда».

16. Стремление построить свое государство (перезагрузить / перезапустить его – как компьютер) характерно для всех революций. Утопия февралистов (русской либерально-демократической интеллигенции) требовала **современного** государства, которое соответствовало бы гражданскому обществу (составляло ему пару). И здесь очевидно противоречие между идеологией и практикой. Февралисты (во всяком случае, кадеты) были сторонниками сильного государства, но их действия, по существу, вели к «минимизации» властно-бюрократической вертикали – переходе на общественную горизонталь. А это – радикальный вызов не только национальной традиции, но и реалиям тотальной войны: тогда государство не просто укреплялось, но в нем нарастали тоталитарные тенденции. Интересно, что большевики, стоявшие за отмирание государства, едва придя к власти, подчинили «умирающему» всю политическую, хозяйственную, культурную и т.д. жизнь общества.

циями на улицах» [12, с. 449], – отмечал уже в марте 1917 г. французский посол в России М. Палеолог. В Военном министерстве, например, началась борьба за шестичасовой рабочий день и шла массовая запись в эсеры [5, с. 342–343]. О результатах этой борьбы вспоминал А.И. Гучков: когда понадобилось издать «очень спешный» циркулярный приказ, оказалось, что в Главном управлении Генерального штаба это некому сделать. Был введен шестичасовой рабочий день и в пять часов в штабе еще оставались писари, но не было офицеров. «Главное управление Генерального штаба – война идет! Демократические требования [эти офицеры] применяли прежде всего к себе, вместо того, что писарям показать пример характера, выдержки. Это был крайний трагизм. Я чувствовал, что все слякотно, все расплозилось» [1, с. 134]. Утрата управленческих навыков, падение организационной культуры не позволяли контролировать сложнейшие социальные процессы, воздействовать на них.

По существу, к концу апреля – началу мая либеральная революция образованной, европейски воспитанной (во всех смыслах) России выполнила свои задачи¹⁷.

Массовизация революции

1917-й год – это время не только общественного брожения, но и народного взрыва, целой серии революций: рабочих, солдат, городских низов, крестьянства. Происходила массовизация революции, началось всероссийское «восстание масс», которые по своему радикализму были средни средневековым протестным движениям. Через Февраль 1917 г. Россия выскочила в массовое общество (точнее, оно вышло из революции)¹⁸.

Массовые революционные движения имели, конечно, причины социального (социально-экономического) характера. В то же время были следствием процессов, которые шли в стране с 60-х годов XIX в., и мировой войны. Однако их главный источник – сама революция. Послефевральский народ – это

17. Пожалуй, главная тема, открытая для науки этой революцией – уязвимость демократического устройства, его зависимость от конкретных условий (времени и места), а также вариативность демократий. Выскажу предположение: России начала XX в. более всего соответствовал политический режим 1906–1914 гг. – это *ее мера* демократии (демократический размер). Послефевральские же свободы оказались для страны чрезмерны (прежде всего, культурно, ментально). Проблема Февраля состояла в том, что февраллисты (общество, интеллигентный обыватель) эту меру уже превзошли (переросли), а большинство народа до нее еще далеко не дозрело.

18. Оно формировалось со времен Великих реформ – под влиянием индустриализации, урбанизации; новый импульс получило в 1905–1906 гг. с рождением массовой политики. Тотальная война и социальная революция окончательно его оформили.

совсем иная социальная среда («почва»), чем рабочие, солдаты, крестьяне царской России. Народ менялся в ходе революции, в ответ на нее. «Политический радикализм интеллигентских идей» соединился с «социальным радикализмом народных инстинктов»¹⁹, что дало разрушительный эффект.

Историки много пишут о том, что после Февраля в деревню ринулись дезертиры. Эта взрывоопасная масса, озлобленная и надорванная войной, послужила катализатором «передельной революции», а потом, в Гражданскую, составила основу крестьянского повстанчества. Но резервы народной революции имелись и в больших городах – Петрограде, Казани, Нижнем Новгороде и др. (где было сосредоточено большое количество запасных полков). Социальное пространство там было чрезмерно засорено: из-за войны и революции скопилось огромное количество практически ничем не занятых людей (беженцев, дезертиров, запасных, а также профессиональных революционеров). Многие из них были вооружены (не случайно большевики занимались затем всеобщим разоружением народа). Этот социальный потенциал мог быть задействован как угодно и кем угодно.

«Лабораторией» народной революции – местом, где творилась новая социальность, – стали улицы Петрограда. Вот характерная зарисовка, относящаяся к самому началу апреля 1917 г.: «С раннего утра и до поздней ночи улицы города были переполнены толпами народа. Большую часть их составляли воинские чины. Занятия в казармах нигде не велись, и солдаты целый день и большую часть ночи проводили на улицах. Количество красных бантов, утерев прелесть новизны, по сравнению с первыми днями революции, поуменьшилось, но зато неряшливость и разнузданность как будто еще увеличились. Без оружия, большей частью в расстегнутых шинелях, с папиросой в зубах и карманами, полными семечек, солдаты толпами ходили по тротуару, никому не отдавая чести и толкая прохожих. Щелканье семечек в эти дни стало почему-то непременно занятием “революционного народа”, а так как со времени “свобод” улицы почти не убирались, то тротуары и мостовые были сплошь покрыты шелухой» [4, с. 27]. Это типовое описание Петрограда; с Февраля 1917 г. город стал именно таким. А семечки – знак праздника / праздности; означают праздное времяпрепровождение в деревне.

В послевоенных дневниках Карла Шмитта есть такое замечание: «Человек с улицы – господин улицы; это и есть современная демократия» [22, S. 12]. В феврале народ (солдат, матрос, рабочий, городские низы) и явился как господин петроградской улицы: эмансипировался и почувствовал себя реальной исторической силой. Послефевральское время (до большевиков, до Гражданской войны) – самое для него счастливое. Он – главный бенефициарий,

19. Эти слова П.Б. Струве, сказанные им после Первой революции, точно характеризуют и 1917 г. [17, с. 148].

настоящий диктатор 1917 г. (не Керенский, не Ленин, не Троцкий). Сбросив с себя путы «старого мира» (все ограничители / ограничения, которые тот на него наложил), «господин улицы» освободился от тяжести всяких социальных обязательств – стал сам себе хозяином. Он принес в революцию свои желания, свои темы. В конечном счете он и распорядился страной, как умел.

Послефевральский народ стал свободен и празден – не нацелен на труд, созидание. «Кучками шатаются праздные солдаты, плюя подсолнухи. Спят днем в Таврическом саду. Фуражка на затылке. Глаза тупые и скучающие, – скажет в августе 1917 г. З.Н. Гиппиус. – Скучно здоровенному парню. На войну он тебе не пойдет, нет! А побунтовать... это другое дело. Еще не отбунтовался, а занятия никакого» [6, с. 535]. Перед нами – *бывшие* солдаты, *бывшая* армия, превратившаяся в вооруженную орду. Вид этих солдат-крестьян, «разнузданный и расхлестанный» (так его характеризовали современники), – это политическое заявление: символ пораженчества, дезертирства. С этими людьми нельзя было вести войну – во всяком случае с внешним врагом. Народ освободился – от службы, от обязательств и обязанностей (прежде всего в отношении государства / революции и иных подобных абстракций). Показательно: в те дни, когда «новые петроградцы» лужали семечки, «корпорация» дворников постоянно отказывалась от профессиональной обязанности – убирать, заявляя, что это не их дело.

У «господина» петроградской улицы появились дела поважнее прежних (царского времени); он был занят митингами, манифестациями. «С тех пор, как началась революционная драма, не проходит дня, который не был бы отмечен церемониями, процессиями, представлениями, шествиями, – указывал М. Палеолог. – Это – непрерывный ряд манифестаций: торжественных, протеста, поминальных, освятительных, искупительных, погребальных и пр. ...Все общества и корпорации, все группировки, – политические, профессиональные, религиозные, этнические, – являлись в Совет <рабочих и солдатских депутатов> со своими жалобами и пожеланиями... Таврический сад видел за своей оградой прещесии евреев, мусульман, буддистов, рабочих, работниц, учителей и учительниц, молодых подмастерьев, сирот, глухонемых, акушеров. Была даже манифестация проституток» [12, с. 447–448].

А вот как французский посол описывает одно из таких торжеств (на Марсовом поле 23 марта 1917 г. – в память жертв революции): «Ораторы следуют без конца один за другим, все люди из народа, все в рабочем пиджаке, в солдатской шинели, в крестьянском тулупе, в поповской рясе, в длинном еврейском сюртуке. Они говорят без конца, с крупными жестами... Большинство речей касается социальных реформ и раздела земли. О войне говорят между прочим и как о бедствии, которое скоро кончится братским миром между всеми народами» [12, с. 451]. Всего этого было так много, что «кто-то из иностранцев, побывав... в Петрограде, сказал, что русская столица

с ее бесконечными митингами, проделками “анархистов”... и т.д. напоминает ему грандиозный дом для сумасшедших» [13].

Палеолог относил эти разговоры на счет особой природы русских; однако это не было просто эмоциональной разрядкой, одним из видов революционных развлечений. Послефевральские уличные разговоры – поиск способов самовыражения: языка, без которого невозможно построить новую идентичность, новую реальность. Причем как вид говоривших, так и качество разговора точно характеризуют нового «господина улицы». Он – не демократ, не гражданин. Для него это – пустые слова; вообще, язык Февраля не переводим на народный (к примеру, слово «оратор» солдат-крестьянин на фронте и в тылу переводил для себя так «оратель» – тот, кто орет, громко говорит). Если характеризовать этот тип с помощью концепции политической культуры, то ему идеально подходит определение «парохиал». Это тот, кто вне политики (она для него не существует – он не понимает смысла политических действий), он – локалист (его не интересуют темы и проблемы, непосредственно с ним самим не связанные), недоверчив (враждебен политике, политикам, государству; доверяет исключительно ближайшему кругу, «своим»), нацелен на прямые насильственные действия (считает, что права, власть можно только отнять, захватить – взять силой), политически безответственен (бесознательно живет в политике, действует «как все» – «миром», «скопом»).

Иначе говоря, это не современный политический человек, но победившая архаика, отменяющая политику. Этот «господин улицы» внеположен гражданской политической культуре – и в этом смысле органически враждебен Февралю. Он отрицает идеалы этой революции; они ему недоступны – он до них не «дорос». По существу, именно этот гражданин – главный контрреволюционер 1917 г. Но он в полной мере воспользовался плодами Февраля – чтобы стать именно «господином»: заявить о себе, приобщиться к власти, начать творить *свой* новый мир.

Местом первоначального действия (пробы сил, «разминки») и стал для него Петроград. Он – не просто новый (а потому «плохой») горожанин, но человек, враждебный городу (из деревни – патриархальный, традиционалистский), напуганный им и взявший у него реванш. Петербург как бы провоцировал на это – тем, что был именно городом (в европейском смысле – по организации, архитектуре, стилю и образу жизни горожан). Занесенные сюда ветром революции солдат-крестьянин, матрос, всякий пришлый элемент и преодолевали это давление – преобразовали город, делали «своим». Не случайно они оперировали именно в центре; рабочие окраины были им ближе, доступнее, понятнее, а значит, малоинтересны. Петроград их не абсорбировал – попросту не мог переварить такую массу.

Но было и еще одно. В народной культуре как бы воспряло кочевое начало; тысячи и тысячи людей оказались вне налаженной (оседлой) жизни –

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

пустились кочевать. И раскинули свои «кочевья» (становища, «привалы») в главном городе «оседлой», европейской, т.е. чуждой им культуры (ее символе). Семечки, мусор, загаженные парки, разбитые статуи, обездвиженные трамваи – это «присвоение» / захват Петербурга-Петрограда. Об историческом значении этого захвата сказал О. Мандельштам: «Скифский праздник на берегах Невы». Город переставал быть прежним – становился *народной* столицей: Ленинградом. С этого начались процессы де-европеизации (после двух столетий европеизации) России, де-урбанизации (по определению А.С. Ахиезера, следствием революции стала не урбанизация деревенской России, а «деревенизация» города [2, с. 554]).

Революционный народ: «Кто был ничем...»

А.Ф. Керенский на одном из своих многочисленных выступлений возглашал: «Основное положение демократии – все равны». Так он разъяснял смысл «Декларации прав солдата» (11 мая 1917 г.), отменившей обязательное отдание чести в армии, т.е. фактически уравнивавшей офицеров и солдат. Уравнение (именно уравнение: материально-имущественное и социальное, а не равенство – в правах – вместе с братством и свободой) – главное слово народной революции²⁰.

С первых дней Февраля обнаружился передельно-уравнительный характер народных движений. Показательно: солдаты и матросы (их вооруженный, силовой фактор) выступили за уничтожение социальной иерархии (как «старорежимной») – поначалу символическое. В армии развернулась настоящая война за отмену традиционного приветствия старших по званию (отдания чести) и ликвидацию погон («обеспогонивание») [10, с. 140–228], которые воспринимались как знак принадлежности к привилегированному («высшему») сословию, символ власти, принуждающей к исполнению своей воли. По существу, речь шла об анархическом бунте против всего этого, а также об отмене авторитетов – всяких отношений, основанных на авторитете и ответственности.

Февраль 1917 г. фактически дал старт гражданской войне, которая шла поначалу в символических формах: против царских орлов и орденов, офицерских погон и проч. – всех символов власти, статуса, богатства (да и просто

20. Вот что писал об этом Максим Горький: «...моему народу свойственно тяготение к равенству в ничтожестве..., исходящее из дряненькой азиатской догадки: быть ничтожным – проще, легче, безответственной» [8, с. 207]. Конечно, у «уравнения» была и высокая мотивация – потребность в социальной справедливости. Для социальности этого типа она имеет особое значение, является неразрешимой проблемой – и теперь, спустя столетие. А тогда реализовалась через удовлетворение уравнительно-передельных «дряньных» инстинктов.

достатка). Все это – элементы образа врага, чрезвычайно важного для народной революции, имя которому: «буржуй». Первым этапом борьбы с ним, в которой применялось массовое насилие, и была антиофицерская кампания. Так, солдаты одного из пехотных полков заявили в мае 1917 г. командиру своего корпуса, что единение с офицерами возможно, если те «откажутся от буржуазии и полностью перейдут на сторону пролетариата». Офицер одного из артиллерийских дивизионов, дислоцированных в Твери, сообщал начальству летом 1917 г.: «Война капитализму понимается как призыв к немедленному уничтожению капиталистов и буржуев, – причем, под этим понимаются все те, кто не в солдатской форме». Даже унтер-офицеров, произведенных в прапорщики, нижние чины воспринимали как предателей своего «класса»: «Надел погоны офицерские, значит, продался буржуазии» [10, с. 209].

Мир без «буржуазии» (попов, помещиков и капиталистов) – вот идеал народной революции. Солдат восстал против офицера – чтобы «уравнять» его с низшими чинами (заставить «категорически присоединиться» к ним), отделить от «буржуазии». Пролетариат хотел не только восьмичасового рабочего дня, но и самоуправления: получить в свои руки промышленность, установить полный контроль над предприятиями, убрать собственников, управляющих, мастеров. Крестьянство желало вытеснить из деревни помещика, а также нового (стольпинского) крестьянина – и всё (землепользование, организацию) подчинить общине. А кроме того, осуществить вековую мечту: взять землю (через «черный передел» поставить окончательный заслон частной собственности), избавиться от гнета города – от власти «политического и административного чиновника сверху», от необходимости кормить «городских»²¹.

«Россия, ты сдурула!»

Летом 1917 г. ситуация была смутной. Единственное, что было ясно: идет разложение. В августе на всероссийский съезд губернских комиссаров в Петрограде собрались представители местной власти. В газетах сообщалось, что во всех речах, прозвучавших на съезде, начиная с речи приветствовавшего съезд министра-президента А.Ф. Керенского и кончая речью представителя власти самой отдаленной окраины, проводилась главенствующая мысль о скорейшем создании твердой государственной организованной

²¹ *«Господам хлеба не дадим, – говорили на сходах в разных частях страны крестьяне, – потому что не хотим кормить буржуев и зарвавшихся рабочих, не дадим хлеба и армии, потому что так быстрее кончится война» (цит. по: [11, с. 65–66]).*

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

власти. Иначе говоря, февралисты с мест заявили о том, что страна неуправляема – установилось безвластие.

На культуру такого типа ситуация безначалия повлияла катастрофически²². Вместе со старой властью, ее полицейско-карательской функцией, из социальной жизни ушла тема наказания. Это автоматически снимало и проблему преступления, вины – прежде всего как проблему юридическую и полицейскую. Либералы во власти придерживались следующей точки зрения: к органам власти граждане свободной России должны прибегать «лишь постольку, поскольку это требуется действительными интересами правового общежития»; в отсутствие новой правовой системы в повседневной жизни следовало руководствоваться «правом неписанным, живущим в нашем сознании, свойственным всему культурному человечеству» (см. об этом: [5, с. 343–344]). Однако в сознании большинства граждан новой России жило другое право, свойственное некультурному человечеству, – обычное. Его ярчайшее проявление – самосуд. Следствием торжества обычного права стали всеобщая беззащитность и всеобщее насилие.

Это нечем было сдержать; поразительным образом вместе с полицией из жизни ушла и мораль (моральные «сдержки» ограничения моралью). Революция создала героев и вождей, но устранила моральные авторитеты. В этом смысле показательно отношение к православной церкви и ее поведение. Там тоже действовали распадные, энтропийные тенденции; церковь сначала поспешно и безответственно отреклась от прошлого (от царя, царизма, «старого режима»), затем устранилась от происходящего, занявшись собой. (Заметим в скобках, что революционный процесс определяла тенденция к локализации: нации и провинции в 1917 г. «побежали» от центра; социум разламывался на национальные, профессиональные и т.п. локусы.) Поэтому преобразенная революцией Россия на какое-то время стала «миром поголовного хама и зверя» (так сказал об этом И. Бунин), торжества «животно-первобытного» в человеке и «животно-первобытных человеков»; она раскрыла «несказанно страшную правду о человеке».

Все это, безусловно, серьезно и страшно, напоминает дикий и жестокий праздник непослушания. Символично, что дети, захваченные вихрем освобожденческой революции, активно участвовали в политических манифестациях. Притом частенько требовали ликвидации «ига родителей» и на своих красных флагах писали: «Да здравствует детский социализм!» [10, с. 272]. В революционной России все (и «верхи», и «низы») вдруг стали вести себя

22. Склонность к безвластию / безгосударственности или крутой диктатуре, отщипывание частной собственности, передельные инстинкты сближали народ с большевиками. Правда, народ хотел именно своей утопии – того, что ему предлагали большевики, но без большевиков.

как непослушные дети, оставшиеся без надзора. Это – проявление инфантилизма, незрелости (не в смысле молодости, а в смысле недоцивилизованности) всего социального организма. Культурные дефициты «обнажились» и стали «работать» в момент социального слома, когда социум стремительно утрачивал цивилизационную оболочку («опрощался»). Это и стало главной причиной распада – не психология, а культура.

Революция сметала институты, административные и социальные (начиная с собственности), право, преемственность и проч. – все то, что было следствием культуры. Все формы жизни, созданные культурой (в процессе долгой и затратной исторической эволюции), распались. К августу 1917 г. масштабы распада стали пугающе очевидны – о ситуации можно сказать словами Ю.Ф. Карякина, сказанными им в 1993 г.: «Россия, ты сдурела!». «Диктатура митинга», стихия «праздника» (освобождения от обязанности: трудиться, служить, исполнять, подчиняться – в отсутствие принуждения сверху), эмансипация от норм и правил (правовых, религиозных, моральных, эстетических) создавали деморализующую атмосферу. В ней терялось общество, т.е. социальная база Февраля, – рассыпались его структуры, устои, оно маргинализировалось. Происходило то, о чем за 100 лет до революции предупреждал Н.М. Карамзин: «...В правлениях новое опасно, / А безначалие ужасно! / Как трудно общество создать! / Оно устроилось веками: / Гораздо легче разрушать / Безумцу с дерзкими руками. / Не вымышляйте новых бед: / В сем мире совершенства нет».

Февраль очень быстро потерял опору. И виновата в этом была не только новая власть («виновата» – в каком-то последнем, окончательном смысле: вина – на ней²³; в том, в каком и «царизм» не был «окончательным» повинен в Феврале). Революция (как любое событие такого масштаба) есть состояние общества – выражение его потребностей, дефицитов, фобий. Февраль создал возможность (почву) для разложения, но разлагаться-то стало само общество – так неожиданно быстро и легко, в таких грандиозных масштабах, что никто и не предполагал.

А большинство простого народа сразу отвергли устои прежнего порядка, бросились в новую жизнь – без Бога, Царя и Отечества. То, как они преобразились в «дни свободы», какие личины на себя надели, свидетельствует: они вообще – вне порядка (против традиций и модёрностей, в отрыве от любых связей – вырваны, точнее, вырвались из них), в нем не нуждались. Они –

23. *Февралисты, конечно, повинны – в том смысле, в каком об этом сказал И.А. Бунин: «Прав был дворник (Москва, осень 1917 года): – Нет, простите! Наш долг был и есть – довести страну до Учредительного собрания! Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова, – мимо него быстро шли и спорили, – горестно покачал головой: – До чего в самом деле довели, сукины дети!»* [3, с. 135].

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

против всяких скреп; за безвластие, безначалие, безверие, безработицу и прочее «без». Их роль – разрушительная: они – маргиналы, проводники радикализации. Им органичен хаос; они идут на развал «старого мира» (им «нужно», чтобы он распался, оставив по себе пустое место – «пустошь»). И вождей себе ищут соответствующих – чтобы узаконить свой новый мир.

Это очень важный опыт, данный русской революцией – и не только России. Только в этой атмосфере возможна была победа большевизма; он явился на разлагавшийся социальный организм. Все плоды разложения (социальные, экономические, управленческие, культурно-ментальные) стали капиталом большевистской революции.

Большевики и революция

В «смутной» атмосфере 1917 г. победили большевики – как некая третья сила, пришедшая «извне» (они «воспитывались» вне России), вне легальной публичной политики – в эмиграции, ссылке, подполье; не знали русской жизни – ее устройства, достоинств, не дорожили ею). Победили потому, что легализовали распад (вписали в процессы «справедливой войны» со «старым миром» – «несправедливости и горя»), использовали стихию народной революции. Ленинско-троцкистский большевизм дал ей язык, обещал решить ее задачи (мир – солдатам, земля – крестьянам, фабрики – рабочим), наделил ее смыслом (двигатель истории – классовая борьба, буржуазия – классовый враг), «придумал» для нее будущее («коммунистический рай на земле» – абсолютную органично народную утопию).

Из всех послефевральских политиков большевики оказались наиболее созвучны революционному народу. В межреволюционные месяцы они осуществили элементаризацию, варваризацию социализма. Большевизм, задумывавшийся как безоговорочное отрицание всего варварского в русском, стал концентрированным выражением русского варварства. Растворение в массе, необходимое для овладения ею, привело к тому, что «почвенное» начало поглотило в большевизме начало цивилизованное, европейское. В ходе революции социалистическая идея в ее западном понимании все больше уступала место неокультуренному, «низовому» «черносотенному социализму». (А его носители во главе со Сталиным неизбежно должны были вытеснить из партии зараженную «европеизмами» прослойку – выжечь как скверну.) Большевики-то и отформатировали революцию особым образом.

Во времена русской революции весь мир судил об этом событии по французскому примеру: происходит падение монархии, на ее место приходят умеренные силы, которые играли важную роль при старом режиме, их сметают крайние радикалы, террор достигает апогея (кровь, безумие, попытка перевернуть все человеческое бытие), потом Термидор и Наполеон – вот

алгоритм революции. По сути, такой была Английская революция 40-х годов XVII в. Этот опыт уверил всех европейских, западных интеллектуалов, что революции происходят так. И все вслед за Токвилем полагали, что новый порядок зреет в рамках старого, а созрев, побеждает (революции, по Марксу, – локомотивы истории).

Внешне русская революция развивалась по тому же сценарию: свержение монархии вполне умеренными, известными до революции силами, приход радикалов, террор, гражданская война, убийство монарха. Поэтому русские эмигранты (к примеру, П.Н. Милюков) и даже большевики полагали, что в середине 1920-х придет Термидор; кто-то даже видел в Сталине Бонапарта. Но русский случай оказался иным.

Русская революция выпадает из общеевропейского ряда. Она была первой в череде революций «нового типа» (XX в.): итальянской, немецкой, португальской, испанской и др., направленных против современности (в том смысле, что они не открывали дорогу новому, но закрывали ее)²⁴. Иначе говоря, если встать на точку зрения исторического прогресса (предположить, что он есть), то в 1917 г. в России случилась антипрогрессистская, реакционная революция.

Революция в ее октябрьском изводе оказалась направлена против освободительной, демократической, европейской линии русской истории (линии Февраля). Она дала пример не эмансипации (хоть и кровавой) индивида, но его нового закрепощения (эксплуатации по-новому); отбросила Россию на «особый путь», на котором страна отказалась от всех достижений европейской цивилизации (семьи, частной собственности, государства, права, прав и т.д.²⁵; потом пришлось кое-что вернуть, так как без этого не может обойтись человеческое общество, но в варварском, извращенном и ограниченном виде). Реакцией на все сложности, которые принесла в страну на рубеже XIX–XX вв. современность стал массовый запрос на упрощение / примитивизацию. Большевики лишь «упаковали» его в современные формы.

24. Большевики уничтожали все то новое, что возникло в недрах «старой» России. Это и есть главное последствие их революции. Не случайно мы и сегодня – перед задачами 100-летней давности, и не знаем, как их решать. В этом острая политическая актуальность 1917 г.

25. Именно в этом, а не в просвещенческом прогрессизме, который декларировала большевистская революция, ее главный замах; именно этим она и потрясла мир.

Библиография

1. Александр Иванович Гучков рассказывает... Воспоминания председателя Государственной думы и военного министра Временного правительства. М.: ТОО Ред. журн. «Вопросы истории», 1993. 143 с.
2. Ахиезер А.С. Россия: Критика исторического опыта (Социокультурная динамика России). 2-е изд., перераб. и доп. Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. Т. 1. 804 с.
3. Бунин И.А. Окаянные дни. СПб.: Азбука-классика, 2003. 320 с.
4. Врангель П.Н. Записки (ноябрь 1916 – ноябрь 1920 г.): в 2 кн. М.: Менеджер, 1991. Кн. 1. 293 с.
5. Гайда Ф. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 г.). М.: РОССПЭН, 2003. 432 с.
6. Гиппиус З. Дневники. М.: НПК «Интелвок», 1999. Т. 1. Синяя книга. Петербургский дневник. 736 с.
7. Глебова И.И. Еще один камень в фундамент российской идентичности: Вспоминая «забытую войну» // Труды по россиеведению: Сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2014. Вып. 5. С. 329–347.
8. Горький М. Несвоевременные мысли: Заметки о революции и культуре. СПб.: Изд. Азбука-классика, 2005. 224 с.
9. Дневник Л.А. Тихомирова, 1915–1917 гг. М.: РОССПЭН, 2008. 440 с.
10. Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: К изучению политической культуры российской революции 1917 г. СПб.: Дм. Буланин, 2001. 349 с.
11. Куреньшев А.А. Крестьянство и его организации в первой трети XX века. М.: Гос. исторический музей, 2000. 222 с.
12. Палеолог М. Царская Россия накануне революции: Репринт. воспроизв. изд. 1923 г. М.: Политиздат, 1991. 494 с.
13. Петроградская газета. 1917. 11 июня.
14. Пивоваров Ю.С. Русское настоящее и советское прошлое. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга, 2015. 336 с.
15. Россия 1917 г. в эго-документах: Воспоминания. М.: РОССПЭН, 2015. 510 с.
16. Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. М.: Московский общественный научный фонд; ООО «Издаг. центр научных учебных программ», 1999. 148 с.
17. Струве П.Б. Интеллигенция и революция // Вехи: Интеллигенция в России. Сб. ст., 1909–1810 гг. М.: Молодая гвардия, 1991. С. 136–152.
18. Февральская революция 1917 г.: Сб. док. и мат. М.: РГГУ, 1996. 353 с.
19. Феллер У. Внутренний враг: Шпиономания и закат императорской России. М.: НЛЮ, 2009. 376 с.
20. Late imperial Russia: Problems and prospects / Essays in honor of R.B. McRean. N.Y., 2005. 208 p.
21. Russia in the European context, 1789–1914: A member of the family. N.Y., 2005. 238 p.
22. Schmitt C. Classarium: Aufzeichnungen der Jahre, 1947–1951. B.: Duncker a. Humbolt, 1991. 364 S.

References

- Ahiezer A.S. Rossiya: Kritika istoricheskogo opyta (Sociokul'turnaja dinamika Rossii). 2-e izd., pererab. i dop. Novosibirsk: Sibirskij hronograf, 1997. Vol. 1. 804 p.
- Aleksandr Ivanovich Guchkov rasskazyvaet... Vospominanija predsedatelja Gosudarstvennoj dumy i voennogo ministra Vremennogo pravitel'stva. Moscow: TOO Red. zhurn. «Voprosy istorii», 1993. 143 p.
- Bunin I.A. Okajannye dni. Saint Petersburg: Azbuka-klassika, 2003. 320 p.
- Dnevnik L.A. Tihomirova, 1915–1917 gg. M.: ROSSPEN, 2008. 440 p.
- Feller U. Vnutrennij vrag: Shpionomanija i zakat imperatorskoj Rossii. Moscow: NLO, 2009. 376 p.
- Fevral'skaja revolucija 1917 g.: Sb. dok. i mat. Moscow: RGGU, 1996. 353 p.
- Gajda F. Liberal'naja oppozicija na putjah k vlasti (1914 – vesna 1917 g.). Moscow: ROSSPEN, 2003. 432 p.
- Gippius Z. Dnevnik. Moscow: NPK «Intelvok», 1999. Vol. 1. Sinjaja kniga. Peterburgskij dnevnik. 736 p.
- Glebova I.I. Eshhe odin kamen' v fundament rossijskoj identichnosti: Vspominaja «zabytiju vojn» // Trudy po rossievedeniju: Sb. nauch. tr. Moscow: INION RAN, 2014. Is. 5. P. 329–347.
- Gor'kij M. Nesvoevremennye mysli: Zametki o revolucii i kul'ture. Saint Petersburg: Izd. Azbuka-klassika, 2005. 224 p.
- Kolonickij B.I. Simvolj vlasti i bor'ba za vlast': K izucheniju politicheskoy kul'tury rossijskoj revolucii 1917 g. Saint Petersburg: Dm. Bulanin, 2001. 349 p.
- Kurenyshev A.A. Krest'janstvo i ego organizacii v pervoj treti HH veka. Moscow: Gos. istoricheskij muzej, 2000. 222 p.
- Late imperial Russia: Problems and prospects / Essays in honor of R.B. McRean. N.Y., 2005. 208 p.
- Paleolog M. Carskaja Rossiya nakanune revolucii: Reprint. vosproizv. izd. 1923 g. Moscow: Politizdat, 1991. 494 p.
- Petrogradskaja gazeta. 1917. 11 Jul.
- Pivovarov Ju.S. Russkoe nastojashhee i sovetskoe proshloe. Moscow; Saint Petersburg: Centr gumanitarnyh iniciativ; Universitetskaja kniga, 2015. 336 p.
- Rossija 1917 g. v jeho-dokumentah: Vospominanija. Moscow: ROSSPEN, 2015. 510 p.
- Russia in the European context, 1789–1914: A member of the family. N.Y., 2005. 238 p.
- Schmitt C. Classarium: Aufzeichnungen der Jahre, 1947–1951. B.: Duncker a. Humbolt, 1991. 364 S.
- Sergeev V.M. Demokratija kak peregovornyj process. Moscow: Moskovskij obshhestvennyj nauchnyj fond; OOO «Izdat. centr nauchnyh uchebnyh programm», 1999. 148 p.
- Struve P.B. Intelligencija i revolucija // Vehi: Intelligencija v Rossii. Sb. st., 1909–1810 gg. Moscow: Molodaja gvardija, 1991. P. 136–152.
- Vrangel' P.N. Zapiski (nojabr' 1916 – nojabr' 1920 g.): v 2 kn. Moscow: Menedzher, 1991. Kn. 1. 293 p.